

Элизабет БИШОП

(1911–1979)

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

Перевод Ирины Машинской

В приемной

В Вустере, штат Массачусетс,
мы как-то пошли с тетей Консуэло
к ее зубному,
я сидела и ждала ее
в приемной.
Была зима. Стемнело
рано.

Приемная
была полна взрослыми,
их куртками и пальто,
журналами и лампами.
Тетя была внутри
– казалось, уже очень долго,

и в ожидании я принялась за
National Geographic
(я уже умела читать), и внимательно изучала фотографии:
внутренность вулкана,
черная, полная пепла;
и дальше – уже переливающиеся за края
потоки огня,

Оса и Мартин Джонсоны
в ковбойских бриджах,
высоких шнурованных ботинках
и пробковых шлемах.
Туша мертвого старика на вертеле
(подпись: Длинная Свинья¹).

¹ «Длинная свинья» – так называли человечину на некоторых островах Полинезии (Прим. И.М.).

Младенцы с остроконечными головами,
туго обмотанными веревкой;
черные, голые женщины с шеями,
обмотанными проволокой,
как шеи электрических лампочек.

Их страшные груди.
Я прочла его весь, от корки до корки.
Я была слишком стеснительна, чтоб бросить на середине.

И только тогда взглянула на обложку:
желтая рамка, дата.
Вдруг изнутри
раздалось *О-ох!* –
– голос тети Консуэло –
не очень громко и не очень долго.
Я ничуть не удивилась;
даже тогда я знала ее как
глупенькую, робкую женщину.
Мне могло б сделаться стыдно,
но не сделалось. Но что действительно поразило –
так это то, что это была я:

мой голос, в моем рту.

Ни о чем вообще не думая,
я была теперь моей глупенькой тетей,
я – мы – падали, падали,
не отрывая глаз от обложки
National Geographic,
Февраль 1918.

Я сказала себе: еще три дня
и тебе будет семь лет.
Сказала, просто чтоб прекратилось
ощущение падения
с круглого проворачивающегося мира
в холодное сине-черное пространство.
Но я чувствовала: ты – одна из я,
ты одна из *Элизабет*,
ты одна из *них*.

Почему и ты должна быть такой?

Я едва осмеливалась взглянуть
на то что было мной.
Взглянула искоса
– выше я не смогла –
на темные серые колени,

штаны и юбки и сапоги
и разные пары рук
в кругах под лампами.

Я знала, что ничего более странного
со мной никогда не случилось, что вообще
ничего странней не могло случиться.

Почему я должна быть моей тетей,
или мной, или кем-то еще?
Что у нас общего –
боты, руки, доставшийся по наследству голос
в горле, или даже
этот *National Geographic*
и те страшные свисающие груди –
что нас сплотило
или вообще превратило в одну?

Как – тогда я не нашла
подходящего слова – как «маловероятно»...

как случилось мне быть здесь,
быть, как они, и случайно подслушать
крик боли, что мог быть еще
ужасней и громче – но не был?

Приемная была залита светом
и жарко натоплена. Я скользила
под черной огромной волной,
и еще одной, и еще.

И тут я снова оказалась внутри.
Шла Война. Снаружи,
в Вустере, штат Массачусетс,
ночь и слякоть и холод,
и все еще длилось пятое
февраля 1918 года.

Крузо в Англии

Вот пишут: новый вулкан
извергся и возник, а еще на днях я прочитал –
корабль увидел, как рождался остров:
вначале выдох пара, милях в десяти;
потом черное пятно, крупца (наверное, базальт)
в бинокле штурмана и сразу
на горизонте зацепился и застрял, как муха.

Его назвали.

А мой бедный остров –
не переоткрыть его, и не переименовать,
и все что в книгах есть о нем – неправда.

В общем, было у меня пятьдесят два
несчастливых маленьких вулкана –
несколько скользких шагов – и ты на вершине,
вулканов, мертвых, словно кучки пепла.
И я, бывало, сидел на краю самого высокого из них
и пересчитывал другие, стоявшие вокруг,
нагие и свинцовые, с уже
слетевшими вершинами,
и думал, что вот если бы они были того размера,
какими, по моим понятиям, и должен быть вулкан,
я б стал гигантом; и если бы я стал гигантом,
то страшно было бы представить
размеры черепах и коз, и чаек, или тех
валиков, кативших – шестигранник пересекавшихся всюду сверкав-
ших волн,
– смыкающийся, и все никак
не могущий сомкнуться.
Сверканье не кончалось, хоть солнце было
по большей части скрыто облаками.

Мой остров был, похоже
свалкой облаков.
Все их излишки, отовсюду,
все шли ко мне и повисали
над кратерами, их пересохшими и выжженными глотками,
горячими на ощупь.
Не потому ль так часто шли дожди?
И все вокруг шипело?
Мимо меня тащились
черепахи под куполами панцирей, шипели, словно чайники.
(И я бы отдал годы или прибавил к сроку
за любой, какой – неважно, чайник).
Шипели складки лавы, сбегая к морю,
но обернись – опять они, парады черепах.
Все пляжи были просто пестрой лавой,
черной и красной, белой или серой;
в цветных прожилках – выставка камней.
И водяные смерчи.
Порой по полдюжины за раз, там вдалеке –
то есть они, то нет, то приближаясь к берегу, то отступая,
их головы в нависших облаках, их ноги в движущихся белых
обносок пены.
Стеклянные мои печные трубы, изогнуты бессильно,
как жертвенные существа –
и я смотрел не отрываясь, как вода

спиралью подымалась в них, как дым.
Красиво, да, но все же вряд ли сойдет за хоть какую-то компанию.

Я часто поддавался жалости к себе
«За что мне это? Видно, есть за что – иначе
как бы тут я оказался? И был ли в моей жизни
момент, когда я выбрал все это?
Не помню, но наверно был.
Но что плохого в жалости к себе?
Привычно свесив ноги с края кратера,
я говорил себе,
мол, «жалости начало – в доме». Так что, чем больше
я жалел себя, тем больше был как дома.

Солнце садилось в море, и оно же
из него вставало.
Оно одно, и я один.
Вообще на острове всего было по одному,
Одна древесная улитка, лилово-ярко голубая
и с тонкой раковиной, ползала по всему, что можно,
по деревьям всего одной породы,
– даже не дерево, а так, всего лишь куст, весь в саже.
Их раковины лежали
под ними волнами, как будто вынес их прибой –
издалека казалось, что это клумбы ирисов.

И был всего один вид темно-красных ягод.
Однажды я их осторожно попробовал, по одной,
с разрывом в несколько часов.
С кислинкой, но ничего, и обошлось без последствий,
так что я сделал из них домашнее питье.
Я пил ту жуткую, жгуче-пенистую жидкость, и она
мне ударила в голову,
и я играл на самодельной флейте
(страннее не было на свете звукоряда)
и с выкриками – все вокруг кружилось –
плясал и прыгал среди коз.
Все самодельное, домашнее, свое! Но не таковы ль и мы?
Я нежно полюбил ту самую неважную
из всех моих островных индустрий.
Нет, не совсем, не самую, поскольку самой-самой
были крупницы ничтожной философии.

Ибо я мало знал.
Ну почему я не узнал достаточно хоть что-то – скажем,
греческую драму или астрономию? Те книги, что я читал,
все были с пропусками;
стихи – я декламировал
моим подушкам ирисов.
“They flash upon that inward eye,

which is the bliss ...”

... – чего?

И я, когда вернулся, первым делом
пошел смотреть: чего?

Мой остров козами пах и гуано.

Все козы были белые, и чайки тоже,
те и другие слишком уж ручные,
а может думали: я чайка или коза.

Баа баа баа и визг визг визг

Бааа визг бааа мне до сих пор не вытряхнуть из уха,
такая боль от крика до сих пор.

Визг вопросительный, двусмысленный ответ
дождя, шипящего по пемзе, и шипенье,
движение черепах –
все это раздражало.

Когда однажды чайки вдруг скопом
взлетели – то зазвучали,
как дерево под ветром, как листва.

Я закрывал глаза и размышлял

о дереве: вот, скажем, дуб, и с настоящей тенью, неважно, где-нибудь.

Я слышал, у скота бывает *островная тоска*.

У коз моих, я думаю, была.

Один козел любил стоять
на кратере вулкана,

который я назвал *Mont d'Espoir – Горой Отчаянья*

(ведь у меня было довольно времени, чтобы играть в имена),
он блял, блял, нюхал теплый воздух.

И я хватал его за бороду и вглядывался:

его зрачки, горизонтальные, сужаясь кверху,

не выражали ровным счетом ничего,

ну может что-то вроде мелкой злобы.

О как мне надоели те цвета! Однажды

я выкрасил козленка в красный –

моими ягодами, просто чтоб немного сменить картину –

и что же? Его же мать его не опознала.

Всего ужасней были сны.

Мне снились, разумеется, еда, любовь,

но то было скорей приятно, чем наоборот.

Но снилось и другое:

как я режу младенцу горло, по ошибке
приняв за козленка.

Еще кошмар: другие острова, бесчисленные множества

тянувшихся до неба островов

метали острова, словно икру,

и лягушачья икра рождала головастика –

еще, еще другие

острова, и во сне я знал, что рано или поздно я должен был прожить на
каждом,

веками, жить и жить, и изучать их фауну и флору,
и географию.

И тут, когда я думал, что и минуты больше не вынесу,
явился Пятница.

(Все абсолютно рассказы об этом неверны).

Он был хороший.

Он был хороший, мы были друзья.

Ах если б только был он женщиной!

Я бы хотел продолжить род,

и, думаю, он тоже, бедный мальчик

с прелестным телом.

Он гладил маленьких козлят и бегал с ними,

или таскал в руках,

так было чудно на него смотреть.

И вот в один прекрасный день они пришли и нас забрали.

Теперь живу я здесь, на острове другом,

он, может, и не выглядит как остров, но кому судить?

Они переполняли кровь мою, мой мозг

рождал их, острова.

Но тот архипелаг

скукожился, иссяк. Я стар. Мне скучно

пить свой настоящий чай.

Вокруг меня неинтересный хлам.

Тот нож на полке –

там от него разило смыслом, как от креста.

Он жил. А сколько лет я умолял его

чтоб не ломался?

Знал каждую зазубрину, царапину на память: лезвия

голубоватый блеск, обломок острия,

древесный узор на рукояти.

Теперь он и не смотрит на меня

Его душа живая испарилась.

Я сам – взгляну и взгляда

на нем не задержу.

Наш городской музей просил меня оставить

им абсолютно все:

нож, флейту, сморщенные башмаки,

штаны из козьей кожи, с проплешинами

(в мех проникла моль),

и зонт – как долго с ним возился, вспоминая

расположение спиц!

Он все еще работает, но сложенный

напоминает костлявую ошипанную дичь.

Кому такое нужно?

А Пятница, мой милый Пятница от кори умер, в марте

будет семнадцать лет.